



Николай Некрасов

Стихотворения

«Public Domain»

Некрасов Н. А.

Стихотворения / Н. А. Некрасов — «Public Domain»,

Литературное наследие Николая Алексеевича Некрасова обширно и разнообразно по жанрам, и в эту сравнительно небольшую книгу вошла лишь малая его часть, но самая блистательная – лирика. Неиссякающая сила Некрасова-поэта – в особой доверительности его художественных интонаций: они обращены к сокровенным сторонам человеческой натуры, угнетаемой повседневностью, испытываемой на прочность социальными конфликтами... Проблемы вечные, но слово Некрасова целит и укрепляет.

Содержание

Поэзия как правда	5
СМЕРТИ	12
СМУГЛЯНКЕ	14
НАШ ВЕК	16
ПЬЯНИЦА	18
СОВРЕМЕННАЯ ОДА	19
ОГОРОДНИК	21
ТРОЙКА	23
РОДИНА	25
ПСОВАЯ ОХОТА	27
НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК	35
ФИЛАНТРОП	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Николай Некрасов

Стихотворения

Поэзия как правда

Воспоминание из студенческих лет. Лекция легендарного Михаила Павловича Ерёмкина в Литературном институте. Вот он входит в аудиторию и вдруг останавливается у двери. Хотя лекция о лирике 1820-х годов, начинает читать Некрасова, «Рыцарь на час»:

*Повидайся со мною, родимая!
Появись лёгкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других...*

Читает долго, читает так, как умеют читать совсем немногие, очень просто, для круга друзей и при том давая вес каждому слову в строке.

А смолкнув, своим быстрым шагом подходит к доске, стремительно ухватывает тряпку и стирает одним махом выведенное мелом:

– Нельзя это для прописей!

А были изображены на доске две первых из прочитанных им строчек: до нашей лекции здесь, вероятно, прошло занятие по стилистике русского языка.

Некрасова, действительно, разодрали на тексты для диктантов, на афоризмы какого-то социально-мизантропического толка: «То сердце не научится любить, Которое устало ненавидеть...», «...дело прочно, Когда под ним струится кровь...», «Даром ничто не даётся: судьба Жертв искупительных просит...» или свели к трогательной банальщине: «Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан», «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!»...

Между тем любое непосредственное соприкосновение с лирикой Некрасова, то есть, попросту говоря, её чтение мгновенно отводит нас от устоявшихся стереотипов, увлекает своей неожиданной, именно лирической свежестью. Это ощущение хорошо передал Достоевский, рассказав, как ночь напролёт читал Некрасова, не мог оторваться от страниц. Ну, допустим, он лично знал Некрасова, а перед этим навестил его, измученного смертельной болезнью. Но творчество Некрасова увлекало в разные времена разных людей. Многие годы над его наследием размышлял Василий Васильевич Розанов, самобытнейший русский мыслитель, которого трудно было загнать в интеллектуальный тупик или чем-либо удивить. Но «простой» Некрасов не давался Розанову. Мощь личности Некрасова, невозможность поместить её в какие бы то ни было рамки изумляла даже Розанова.

Собственно, в своих размышлениях он передал всё то главное, что заставляло многих задавать вопросы, иногда недоумённые.

Кто Некрасов? Городской он или сельский? Барин или работяга? Делец, не чуждающийся мошенничества, или верный товарищ, бескорыстный помощник?

Однажды, в «Мимолётном. 1914 год» Розанов даже сравнил Некрасова с евангельским «блудным сыном». «Поэзия Некрасова была прекрасно-искренна, ибо непостижимым образом он до смерти оставался в сущности вихрастым 17-летним юношей, с его „конечно“, хитростями и плутовством, которые суть отрицание *ordinis* и *ordinum*», то есть (по латыни) порядка и порядков. «Он до конца жизни, до свадьбы с „Зиной“, сам немножко воровал (не имущественно), сам „крал клоч сена“ с чужого воза, как никому не принадлежащий бык...

Некрасов особенно возмутил всех литераторов петербургских тем, что был «вне общественных правил», жил с чужими жёнами, «любил до смерти» крестьянских баб, не гнушался проституткой – и вообще замечал острым взглядом всякую проходящую девицу. «Нам этого и подавай», – кричат гимназисты и всемирные блудные сыны». Словом, Некрасов «принял энтузиазм самого лучшего, цветущего возраста человечества. Открыл его – Христос. „Блудный сын“ каждого дома в 16 лет».

При всей парадоксальности этого суждения Розанов очень точно отмечает важнейшую черту человеческого облика Некрасова-поэта. Некрасов преодолел негласно установленное, но издавна утверждённое расстояние между поэтом и читателями, поэтом и обществом. Никогда не поступаясь своими литературными убеждениями (о пресловутых «неверных звуках» его лиры скажу ниже), он жил как жилось, смолоду отказавшись от всех внешних атрибутов поэта, как они сложились в пору романтизма, – длинный широкий плащ заменил Некрасову красный шарф, связанный его матерью, который он носил многие годы. Попросту говоря, он шёл из жизни в поэзию, а не из поэзии – в жизнь, как это чаще всего бывает.

Да, была у него мечта – вместо воинской службы поступить в университет, но когда не свершилось, не упал духом, не запил, как тысячи, а нашёл выход, спасение в труде. Дворянин стал крепостным от литературы – но через несколько лет, в изнурительных трудах достиг не только достатка, денежной независимости от кого бы то ни было, но и оказался ведущей силой в новом мощном литературном движении – «натуральной школе». А ещё через несколько лет и сам вышел в число первых русских поэтов.

Уже смертельно больным, в 1876 году он сделал набросок стихотворения «Утомонись, моя Муза задорная...», где есть строки:

*Как человека забудь меня частного,
Но как поэта – суди...*

Просящая, примирительная интонация кажется здесь несправедливой. Некрасов мог бы смело сказать, что его частная жизнь не была в противоречии с его поэзией.

Известные сопровождавшие Некрасова с молодости и, можно сказать, не смолкающие до сих пор замечания о его двойничестве: мол, едучи после удачной карточной игры в Английском клубе, он плачет и страдает о горькой крестьянской доле, – обличают в злословах людей не просто завистливых, но и духовно убогих. Если вновь вернуться к воспоминаниям Достоевского о Некрасове, то можно заметить: изобразитель незаурядных человеческих характеров, автор восклицания: «Широк человек!», не мог не восхищаться широтой некрасовской натуры, её вместимостью, её открытостью ко всему в мире. Тот же Розанов радовался, выяснив, что к одной тёмной истории присвоения денег Некрасов, как он думал поначалу и не раз упоминал об этом, непричастен: «В моих глазах это – главная тяжесть „всего Некрасова“, и слава Богу, что этот могильный камень отваливается. Нет, он был „Соловей-Разбойничек“, но не Петербургский шулер. Натура лесная, полевая и с интересом к „чужому товарцу“. Но одно дело – обоз разграбить, и другое – объегорить „на векселях“».

Розанов приходит к выводу, к сожалению, до сих пор во многом справедливому, что изучение Некрасова чаще всего направлено к тому, чтобы «закрывать и скрывать настоящего Некрасова, нежели объяснить его» в стремлении «стесать в нём острые и непререкаемые углы и приноровить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не „выпячивался“ из этого хода». Некрасова «прилизывали» в «благоразумную прогрессивную фигуру», в то время как он «вообще в литературе „разорял“, как совершенно инородный в ней человек, рвал её традиции, рвал её существо». Его сила в его краткости, в умении в «Забывтой деревне» (Розанов приводит в пример это стихотворение) сказать о проблемах крестьянства живее, чем это «в двух томах» делает Гончаров.

«„Некрасовская литература“, – совершенно „дикая“ в отношении всей предыдущей литературы, – страшна и истинна в том, что она есть *подлинная литература подлинной, а не вымышленной Руси*». Некрасову „как-то удалось дать „стиль всей Руси“... Стиль её – народной, первобытной, почти дохристианской... <<...>> И – бросить всё это против цивилизации, злобно – против цивилизации... Он – будто зверь, бродящий по окраине города в тёмной ночи и щёлкающий зубами на город. И к утру – причесался, прилизался и вошёл в город, но с ночным чувством: сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И, в сущности, в одном и другом делал одно и то же – ремизил...“.

При этих своих особенностях Некрасов легко вошёл в сознание русского человека многими своими строчками. Говоря об осенней красоте городка, где он жил, Розанов вспоминает Некрасова: «Поздняя осень – грачи улетели» и пишет об «отвратительной литературности русского человека, отвратительной литературности и училищ наших», выражающейся в том, что «лишь вспомнив эту *учебную*, «из хрестоматии», строчку Некрасова, я догадываюсь и впервые *осознаю* о своём отечестве, что и грачи собственно «перелётная птица»...».

Вот он, один из самых глубоких парадоксов Некрасова. Да, тематика множества его произведений открыто социальна, но ведь это совсем не те «физиологические очерки», пусть в стихотворной форме, которые он печатал в своих изданиях 1840-х годов.

Откройте его позднее стихотворение «Утро» (1872-73), и вы увидите, что это своего рода итог всей социальной темы в его творчестве.

*Ты грустна, ты страдаешь душою:
Верю – здесь не страдать мудрено.
С окружающей нас нищетой
Здесь природа сама заодно...*

Постоянно возникающие в поэзии Некрасова мотивы тоски, скуки, знаменитой хандры он переводит здесь с социального на какой-то планетарный, даже космический уровень. Он отказывается от окончательных объяснений, он поэт, и он просто не верит, что всё происходящее на земле можно объяснить при помощи понятий, исходящих из единых логических посылок.

В школьных хрестоматиях издавна печатается несколько строчек из стихотворения «Зелёный Шум»:

*Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые...*

Все это помнят, учителя любят давать эти строки для заучивания наизусть. Строки прекрасные, да только, к сожалению, после золотой поры малолетства это стихотворение полностью так и не прочитывается. А между тем в нём рассказана одна из самых драматических историй, которые происходили и во времена Некрасова и до, и после, и будут происходить всегда, пока в мире существует семья, чистота чувства, понятия сердечной чести и моральной ответственности.

Муж уехал в столицу, а жена коротко сошлась с другим... И вот проводят они долгую зиму в одной избе, во взаимных страданиях, и муж уже решается на страшный грех:

Окрепла дума лютая –

Припас я вострый нож...

Но вдруг... В общем, ничего особого и не произошло:

Да вдруг весна подкралась...

Но именно этот Зелёный Шум (некрасовское пояснение к стихотворению: «Так народ называет пробуждение природы весной») погасил «думу лютую», заменив её песней, которая повсюду слышится герою:

*«Люби, покуда любится
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И – Бог тебе судья!»*

И таких уроков – сдержанных, ненапористых, но очень определённых по своему сердечному настрою – в поэзии Некрасова вдосталь, они погружают шумные лозунги, которые вырывались у поэта, в пространство умиротворения и взаимопонимания.

Тот же Розанов, важный для нас неподкупный литературный судья, исследуя психологический облик Некрасова, устанавливает и показывает на многих примерах, что его «музу мести и печали» отличает прежде всего «*благодущие*» – именно оно „всё-таки небо в нём, а гнев – только облака, проносящиеся по нему“.

Даже в т.н. гражданских стихах «бездна этого же благодущия», основанного на «просто добром чувстве, без всяких осложнений», его «муза мести и печали» «не назойлива», «не тягуча», «это был поэт малого гнева», «открытое, простое сердце, без лабиринтов в себе».

Более того, Розанов высказывает предположение, что знаменитые строки: «То сердце не научится любить, // Которое устало ненавидеть» – предостерегающе обращены Некрасовым к «себе и своим» и означают следующее: истерзанное ненавистью сердце уже не способно принять в себя любовь.

Если с этой точки зрения посмотреть на то, что Некрасов называл «неверным звуком» своей музыки, то мы, обладающие исторической памятью о страшном XX веке, признаем, что и поддержка Некрасовым действий русской армии по подавлению социал-радикализма в Царстве Польском, входившем тогда в состав Российской Империи, и стихотворение в честь Осипа Ивановича Комиссарова, помешавшего террористу Каракозову совершить царевбийство, вовсе не составляют предмета для какого-либо покаяния. Да, провокационная социологическая критика переврала и перетолковала эти поступки поэта, начала травить его при жизни и продолжала держать в оболгании долгие-долгие десятилетия, но пора и правду сказать!

А вот то, что Некрасову в своём творчестве удалось соединить, «гальванопластически спаять» «деревню и русского „интеллигента“», почти никто, кроме того же сурового Розанова, и не писал.

Строки

*Холодно, странничек, холодно.
Голодно, странничек, голодно,*

по мнению Розанова, «дьявольский стих. Который стоит целой литературы. Это он написал, когда забнул в Английском клубе. Там было ужасно холодно. Но никто не заметил, кроме как поэт Некрасов». Эти строки, «пожалуй, стоят всего Достоевского и изрекли в 2-х строках

то, что он изложил в 14 томах». И наконец: «Вообще Некрасов создал *новый тон* стиха. *новый тон чувства*, новый тон и звуковора «.

«Пошлый опыт – ум глупцов», – вырвалось у Некрасова в «Песне Ерёмушке», и всем своим творчеством, всей своей жизнью он, в эпоху как раз опытного знания, торжества позитивизма, от прямолинейного доверия к массе накапливаемых фактов или, скажем, литературных традиций легко отказывался, попросту не замечал их.

О «Мечтах и звуках», дебютном поэтическом сборнике Некрасова, обычно говорят как о творческом провале юного стихотворца. Однако это достаточно упрощённое утверждение: книжка не очень понравилась Белинскому (непререкаемый авторитет для советских историков литературы), но были и одобрительные рецензии. Так, в одной из них говорилось, что «звуки» (умение слагать стихи) у автора «лучше, чем мечты» (пафос, содержание стихотворений). Впрочем, уже тогда, если помнить о дальнейшем, такой дебют было явлением для русской литературы не новым: достаточно сравнить «Руслана и Людмилу» с «Медным всадником» – перо одно, воплощаемые этим пером идеи имеют совершенно разный вес.

Уже в первых опытах Некрасова формировался его самобытный поэтический язык, система образности, которая в итоге сделала его лирику значимым явлением мировой литературы. В «Мечтах и звуках» привлекает особое отношение автора к оппозиции собственно звуков мира и тишины. Разумеется, это прежде всего *звуки лиры*, поэтического вдохновения; когда их нет, возникает даже не тишина – пустота.

*Бессилен взрыв фантазии свободной,
И сердце жмёт, как камень, пустота.
Он рвётся, ждёт; напрасно всё: ни звука!..*

«Два мгновения»

а когда они, эти поэтические звуки предощущаются, тишина служит лишь своего рода подготовляющей паузой для их торжественного явления:

*Не дай забыть того мгновенья,
Когда в полуночной тиши,
Затворник дум и вдохновенья,
Звучал я, полный восхищенья,
На струнах огненной души...
«Незабвенная»*

Вместе с тем в сборнике появляется и другая тишина – воплощение вечности: «*Тихо кладбище, // Мертвых жилище, // Храм Божий тих...*» («Землетрясение»), особенно выразительная после зазвучавших в стихотворении гула земли, громов, воя, «эха глухого», «скрежетов ада», «тяжких воплей придавленных жертв», грозного звона колоколен и даже потрясающего на фоне вселенского катаклизма «мелкой суетности шума»...

И, наконец, тишина как побуждение к душевной сосредоточенности, к размышлению: «*Сердце плачет в тишине, // Сердце рвётся к вышине...*»; «*Полночь; тихо. Ангел мира // Воцарился над землёй...*» («Ночь»).

Здесь не может не вспомниться восприятие тишины древнерусскими писателями как необходимого условия для успеха любого созидającego деяния.

Творческое развитие смысла первых, интуитивно точных, но художественно еще эскизных образов получило новое качество в поэме Некрасова «Тишина». Произведение, которое

пииты нашего века, может быть, назвали бы «Минута молчания», по своему пафосу поднимается высоко над событийной подоплекой: недавно завершившейся Крымской войной.

Можно сказать, тишина переполняет строки поэмы: здесь и «*деревенек тишина*», и «*война молчит*», и молчащий Севастополь («*Люди в той стране // Ещё не верят тишине, // Но тихо...*»), и «*бег коня неслышно-тих*», и «*русский путь, знакомый путь*», который «*опять пустынно-тих и мирен*», но главное содержание центрального образа, конечно, заключается в строфе:

*Над всей Россией тишина,
Но – не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.*

Такое духовное наполнение тишины, когда она предстаёт не простым отсутствием звуков, а формой сосредоточения всех сил разума, души и сердца, становится характерным в поэзии Некрасова.

Например, в более позднем стихотворении (или маленькой поэме) «Балет» (1866) он с виртуозностью истинного мастера строит повествовательную композицию, где едко-ироническое («*Немы струны карающей лиры, // Вихорь жизни порвал их давно!*») изображение зрителей балетного спектакля (тоже ведь бессловесное, хотя и под музыку выражение человеческих страстей), сменяется возвышенной до подлинного трагизма картиной мужицкого обоза, возвращающегося после проводов своих родных в рекруты.

*Как немые, молчат мужики,
Даже песня никем не поётся,
Бабы спрятали лица в платки,
Только вздох иногда пронесётся...*

Бесконечно печальна «музыка» этого «*каравана с седоками в промёрзлой овчине*»: «*скрипом, визгом окрестность полна. // Словно до сердца поезд печальный // Через белый покров погребальный // Режет землю – и стонет она, // Стонет белое снежное море...*»

Тишина – и безгласность.

Знаменитый *Зелёный Шум*, «*пробуждение природы весной*» – и «*этот стон у нас песней зовётся*»...

Временами сам мастер будто пугался созданного им, так далекого от «мечтаний и звуков» традиционной поэзии, своей собственной, ранней, и писал: «*...свой венец терновый приняла, // Не дрогнув, обесславленная Муза // И под кнутом без звука умерла*».

Стихотворение «В столицах шум, гремят витии...», которое школьники из-за его краткости особенно охотно учат наизусть, представляет, между тем, не просто публицистический отклик на обсуждение в России грядущих реформ нового императора.

Это ключевое для поэта произведение, где с полной определённой обозначена важнейшая для Некрасова оппозиция между цивилизацией и природой, стихией.

«Тишина» начиналась благодарственными словами: «*Спасибо, сторона родная, // За твой врачующий простор!*» Здесь же нет каких-либо возвышенных обращений, поэтический словарь стихотворения почти аскетичен, даже рискованное «целуюсь» не выглядит здесь нарушением художественного вкуса. Нет изобразительной перенасыщенности, того словесного мусора, которого вдосталь на «словесной войне». Некрасов организует стихотворение на динамических началах, пластические картины сочетаются у него с созданием звукового рисунка двух миров. (Речь идёт не о звукописи.)

В одном мире – «шум», гром («гремят»), «словесная война» (вспомним ещё библейское предостережение о «ветре слов»!). Но этот гремящий мир окружён миром «вековой тишины». И тишины одушевлённой, тишины духовной, она приемлет движение ветра (не «ветра слов»!), шум деревьев, ив (как вновь не вспомнить «Зелёный Шум»), шорох колосьев...

И это – «во глубине России».

Здесь вновь напоминание: хорошо известное каждому в прошлом веке, да теперь и нам, грешным, начало покаянного псалма, читавшегося как отходная молитва над умирающим: «Из глубин я воззвал к тебе, Господи!...» Так эти девять строчек, обошедшиеся без восклицательных знаков, взывают к россиянам о судьбе их «бесконечных нив», как об их собственной судьбе...

Самой красноречивой оказалась «вековая тишина».

Поэзия вывела своего читателя к жизни, к Правде бытия, и тем выполнила своё главное предназначение: укрепила – своими силами – человека в его духовном поиске.

Сергей ДМИТРЕНКО

СМЕРТИ

Не приходи в часы волнений,
Сердечных бурь и мятежей,
Когда душа огнем мучений
Сгорает в пламени страстей.

Не приходи в часы раздумья,
Когда наводит демон зла,
Вливая в сердце яд безумья,
На нечестивые дела;

Когда внушеньям духа злого,
Как низкий раб, послушен ум,
И ничего в нем нет святого,
И много, много грешных дум.

Закон озлобленного рока,
Смерть, надо мной останови
И в черном рубище порока
Меня на небо не зови!

Не приходи тогда накинуть
Оков тяжелых на меня:
Мне будет жалко мир покинуть,
И робко небо встречу я...

Приди ко мне в часы забвенья
И о страстях и о земле,
Когда святое вдохновенье
Горит в груди и на челе;

Когда я, дум высоких полный
Безгрешен сердцем и душой,

И бурной суетности волны
Меня от жизни неземной
Увлечь не в силах за собой;

Когда я мыслью улетаю
В обитель к горнему царю,
Когда пою, когда мечтаю,
Когда молитву говорю.

Я близок к небу – смерти время!
Нетруден будет переход;
Душа, покинув жизни бремя,

Без страха в небо перейдет...

СМУТЛЯНКЕ

Черны, черны тени ночи,
Но черней твоя коса
И твои живые очи,
Ненаглядная краса.
Если вестниками бури,
Кроя свет дневных лучей,
Ходят тучи по лазури –
Это тень твоих очей!
Если вспыхнут метеоры
Над поверхностью земли –
Их твои, о дева, взоры
Огнемётные зажгли!
Если молнья ярким блеском
На мгновенье вспыхнет там
И промчится с гордым треском
Гром по мрачным высотам,
Эта молнья – жар дыханья
Томных уст твоих, краса;
Гул отзвучный их лобзанья –
Разъяренная гроза.
Вся ты – искры бурной Этны
Да чудесный чёрный цвет;
Нет ни бледности бесцветной,
Ни румянца в тебе нет.
Лишь меняет буря гнева
Да любовь твои черты.
Черноогненная дева,
Счастлив, кем пленилась ты!
Как люблю я, как пылаю!
Но как часто за тобой
Взор ревнивый устремляю.

Ах, ужель?.. нет, боже мой!
Страшно мыслить!.. прочь сомненье!
Ты верна. Но, о судьба!
Если вдруг души влеченье...
Страсть... безумие... борьба?

Ах! молю – когда измену
Ты замыслишь, приходи,
Вольной страсти перемену
Расскажи мне на груди:
Обниму тебя, тоскуя,
Загорюсь от поцалуй
И, страдания тая,

Перед смертию скажу я:
»За Ленору умер я!«

НАШ ВЕК

Свет похож на торг, где вечно,
Надувать других любя,
Человек бесчеловечно
Надувает сам себя.
Все помешаны формально.
Помешался *сей* на том,
Что, потея, лист журнальный
Растянуть не мог на том;
Тот за устрицу с лимоном
Рад отдать и жизнь и честь;
Бредит тот Наполеоном
И успел всем надоесть.
Тот под пресс кладет картофель,
Тот закладывает дом,
Тот, как новый Мефистофель,
Щеголяет злым пером.
Тот надут боярской спесью,
Тот надут своей женой;
Тот чинам, тот рифмобесью
Предан телом и душой.
У того карман толстеет
Оттого, что тонок сам,
Что журнал его худеет
Не по дням, а по часам.
Тот у всей литературы
Снял на откуп задний двор,
С журналистом шуры-муры
Свел – и ну печатать вздор.
Тот мудрец, тот тонет в грезах,
Тот состряпал экипаж
И со славой на колесах
Трехсаженных марш, марш, марш!
От паров весь свет в угаре,
Всё пошло от них вверх дном;
Нынче всякому на паре
Ездить стало нипочем.
Ум по всем концам Европы
К изобретеньям прилип,
Телеграфы, микроскопы,
Газ, асфальт, дагерротип,
Светописные эстампы,
Переносный сжатый газ,
Гальванические лампы,
Каучуковый атлас,
Паровозы, пароходы,

Переносные дома,
Летоходы, весоходы,
Страховых компаний тьма!
Пневматические трубы,
Стеарин и спермацет,
Металлические зубы
Сбили с толку белый свет.
Доктора свои находки
Сыплют щедрою рукой,
Лечат солью от чахотки
И водой от водяной;
В бога здоровья тянут воду,
Воду всем тянуть велят
И, того гляди, природу
От сухотки уморят;
Водяная медицина
Наводнила целый свет,
Пациентам же от сплина
В кошельке – лекарства нет...
С быстротою паровоза
Совершенствуется век;
Ни пожара, ни мороза
Не боится человек.
Что для нас потоп, засухи?!
Есть такие лихачи,
Из воды – выходят сухи,
Из огня – не горячи.
В деле разные языки,
Руки, ноги, голова;
Все мы мудры, все велики,
Всё нам стало трын-трава.
Нет для нас уж тайны в море:
Были на его мы дне;
Кто же знает? Может, вскоре
Побываем на луне.
А потом, как знать! с терпеньем
Где не будет человек?..
Малый с толком, с просвещеньем
Далеко пойдет наш век!..

ПЬЯНИЦА

Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша!
В томительном борении
Сама с собой душа,
А ум в тоске мучительной...
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Всё та же хата бедная –
Становится бедней,
И мать – старуха бледная –
Еще бледней, бледней.
Запуганный, задавленный,
С поникшей головой,
Идешь как обесславленный,
Гнушаясь сам собой;
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой наряд
С насмешкой неслучайною
Все, кажется, глядят.
Всё, что во сне мерещится,
Как будто бы назло,
В глаза вот так и мечется
Роскошно и светло!
Всё – повод к искушению,
Всё дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит...
Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрам бы не роскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелого,
Гнетущего труда, –
Быть может, буйну голову
Сносил бы я тогда!
Покинув путь губительный,
Нашел бы путь иной
И в труд иной – свежительный –
Поник бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку...
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.

СОВРЕМЕННАЯ ОДА

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И – беру небеса во свидетели –
Уважаю тебя глубоко...

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь.

Не гнушаешься темной породой:
»Братья нам по Христу мужички!«
И родню свою длиннородую
Не гоняешь с порога в толчки.

Не спрошу я, откуда явилось,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе всё свалилось
За твою добродетель и честь!..

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И – беру небеса во свидетели –
Уважаю тебя глубоко...

* * *

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;

Когда, забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть

Всего, что было до меня;

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена, –

Верь: я внимал не без участия,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял всё, дитя несчастья!
Я всё простил и всё забыл.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе – пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,
В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

ОГОРОДНИК

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь, –
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.

Я в немецком саду работал по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою.

По торговым селам, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой,
Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой.

Черноброва, статна, словно сахар бела!..
Стало жутко, я песни своей не допел.
А она – ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней как шальной я глядел.

Я слышал на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден, –
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль, молодца, кудри – чесаный лен...

Разыгралась душа на часок, на другой...
Да как глянул я вдруг на хоромы ее –
Посвистал и махнул молодецкой рукой,
Да скорей за мужицкое дело свое!

А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою
И смеялась со мной и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?

Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь...
»Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал, – чай, пора уж тебе отдохнуть».

– Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
Пособи мужику, поработай часок. –
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенок...

Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралась кровь.
– Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?

«От кого у тебя перстенок золотой?»
– Скоро старость придет, коли будешь всё знать
»Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» –
И за палец меня белой рученькой хватъ!

Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал – не давал золотой перстенок...
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как – в щеку девицу чмок!..

Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой... В ясны очи глядел,
Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Цаловал-миловал, песни волжские пел.

Мигом лето прошло, ночи стали свежей,
А под утро мороз под ногами хрустит.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» – кричит.

Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел...
И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.

Постегали плетью, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченьясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровый дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвести,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни, – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

РОДИНА

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребьяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...
Воспоминания дней юности – известных
Под громким именем роскошных и чудесных, –
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальней
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде –
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрашна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И всё, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..
И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодной и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг, –
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,

Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Як няне убегал... Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиление,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой...
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, –
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор –
В томящий летний зной защита и прохлада, –
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понутив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

ПСОВАЯ ОХОТА

Провидению угодно было создать человека так, что ему нужны внезапные потрясения, восторг, порыв и хотя мгновенное забвение от житейских забот; иначе, в уединении, грубеет нрав и вселяются разные пороки.

Реутт. Псовая охота

1

Сторож вокруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.

Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль;

По небу тучи угрюмые гонит,
По полю листья – и жалобно стонет...

Барин проснулся, с постели вскочил,
В туфли обулся и в рог затрубил.

Вздروгнули сонные Ваньки и Гришки,
Вздروгнули все – до грудного мальчишки.

Вот, при дрожащем огне фонарей,
Двигутся длинные тени псарей.

Крик, суматоха!.. ключи зазвенели,
Ржавые петли уныло запели;

С громом выводят, поят лошадей,
Время не терпит – седлай поскорей!

В синих венгерках на заячьих лапках,
В остроконечных, неслыханных шапках

Слуги толпой подъезжают к крыльцу.
Любо глядеть – молодец к молодцу!

Хоть и худеньки у многих подошвы –
Да в сертуках зато желтые прошвы,

Хоть с толокна животы подвело –
Да в позументах под каждым седло,

Конь – загляденье, собачек две своры,
Пояс черкесский, арапник и шпоры.

Вот и помещик. Долой картузы!
Молча он крутит седые усы,

Грозен осанкой и пышен нарядом,
Молча поводит властительным взглядом.

Слушает важно обычный доклад:
»Змейка издохла, в забойке Набат,

Сокол сбесился, Хандра захромала».
Гладит, нагнувшись, любимца Нахала,

И, сладострастно волнуясь, Нахал
На спину лег и хвостом завилял.

2

В строгом порядке, ускоренным шагом
Едут псари по холмам и оврагам.

Стало светать; проезжают селом –
Дым поднимается к небу столбом,

Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп скрипит (запрещенный законом);

Бабы из окон пугливо глядят,
»Глянь-ко, собаки!» – ребята кричат...

Вот поднимаются медленно в гору.
Чудная даль открывается взору:

Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,

А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.

Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари,

И пробужденной природы картиной
Не насладился из них ни единый.

«В Банники, – крикнул помещик, – набрось!»
Борзовщики разъезжаются врозь,

А предводитель команды собачьей,
В острове скрылся крикун-доезжачий.

Горло завидное дал ему бог:
То затрубит оглушительно в рог,

То закричит: «Добирайся, собачки!
Да не давай ему, вору, потачки!»

То заорет: «Го-го-го! – ту! –ту!! –ту!!!»
Вот и нашли – залились на следу.

Варом-варит закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух,
Дивной гармонией нежится слух!

Однопометников лай музыкальный
Душу уносит в тот мир идеальный,

Где ни уплат в Опекунский совет,
Ни беспокойных исправников нет!

Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен!

3

Ближе и лай, и порсканье, и крик –
Вылетел бойкий русак-материк!

Гикнул помещик и ринулся в поле...
То-то раздолье помещичьей воле!

Через ручьи, буераки и рвы
Бешено мчится: не жаль головы!

В бурных движениях – величие власти,
Голос проникнут могуществом страсти.

Очи горят благородным огнем –
Чудное что-то свершилось в нем!

Здесь он не струсит, здесь не уступит,
Здесь его Крез за миллионы не купит!

Буйная удаль не знает преград,
Смерть иль победа – ни шагу назад!

Смерть иль победа! (Но где ж, как не в буре
И развернуться славянской натуре?)

Зверь отседает – и в смертной тоске
Плачет помещик, припавши к луке.

Зверя поймали – он дико кричит,
Мигом отпазончил, сам торочит,

Гордый удачей любимой потехи,
В заячий хвост отирает доспехи

И замирает, главу преклоня
К шее покрытого пеной коня.

4

Много травили, много скакали,
Гончих из острова в остров бросали,

Вдруг неудача: Свиреп и Терзай
Кинулись в стадо, за ними Ругай,

Следом за ними Угари Замашка –
И растерзали в минуту барашка!

Барин велел возмутителей сечь,
Сам же держал к ним суровую речь.

Прыгали псы, огрызались и выли
И разбежались, когда их пустили.

Рёвма-ревет злополучный пастух,
За лесом кто-то ругается вслух.

Барин кричит: «Замолчи, животное!»
Не унимается бойкий детина.

Барин озлился и скачет на крик,
Струсил – и валится в ноги мужик.

Барин отъехал – мужик вострепнулся,
Снова ругается; барин вернулся,

Барин арапником злобно махнул –
Гаркнул буян: «Караул, караул!»

Долго преследовал парень побитый
Барина бранью своей ядовитой:

«Мы-ста тебя взбутетением дубьем
Вместе с горластым твоим холуем!»

Но уже барин сердитый не слушал,
К стогу подсевши, он рябчика кушал,

Кости Нахалу кидал, а псарям
Передал фляжку, отведавши сам.

Пили псари – и угрюмо молчали,
Лошади сено из стога жевали,

И в обагренные кровью усы
Зайцев лизали голодные псы.

5

Так отдохнув, продолжают охоту,
Скачут, порскают и травят без счету.

Время меж тем незаметно идет,
Пес изменяет, и конь устает.

Падает сизый туман на долину,
Красное солнце зашло вполноину,

И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-белой луны.

Слезли с коней; поджидают у стога,
Гончих сбивают, сзывают в три рога,

И повторяются эхом лесов
Дикие звуки нестройных рогов.

Скоро стемнеет. Ускоренным шагом
Едут домой по холмам и оврагам.

При переправе чрез мутный ручей,
Кинув поводья, поят лошадей –

Рады борзые, довольны тявкуши:
В воду залезли по самые уши!

В поле завидев табун лошадей,
Ржет жеребец под одним из псарей...

Вот наконец добрались до ночлега.
В сердце помещика радость и нега –

Много загублено заячьих душ.
Слава усердному гону тявкуш!

Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!

Слава тебе, неизменный Нахал, –
Ты словно ветер пустынный летал!

Слава тебе, резвоножка Победка!
Бойко скакала, ловила ты метко!

Слава усердным и бурным коням!
Слава выжлятнику, слава псарям!

6

Выпив изрядно, поужинав плотно,
Барин отходит ко сну беззаботно,

Завтра велит себя раньше будить.
Чудное дело – скакать и травить!

Чуть не полмира в себе совмещая,
Русь широко протянулась, родная!

Много у нас и лесов и полей,
Много в отечестве нашем зверей!

Нет нам запрета по чистому полю
Тешить степную и буйную волю.

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,

И до седин молодые порывы
В нем сохраняются, прекрасны и живы,

Черная дума к нему не зайдет,
В праздном покое душа не заснет.

Кто же охоты собачьей не любит,
Тот в себе душу заспит и погубит.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПСОВОЙ ОХОТЕ»

Змейка, Набат, Сокол, Хандра, Нахал и далее употребляющиеся в этой пьесе названия – *Свиреп, Терзай, Ругай, Угар, Замашка, Победа* – собачьи клички.

Так называется снаряд особого устройства, имеющий в спокойном положении форму неправильного треугольника. С помощью этого снаряда в некоторых наших деревнях достают воду из колодцев, что производится с раздирающим душу скрипом.

Банники – название леска.

Набрасывать – техническое выражение: спускать гончих в остров для отыскания зверя (остров – отъемный лес, удобный, по положению своему, для охотников). Набрасывает гончих обыкновенно так называемый доезжачий; бросив в остров, он поощряет их порсканьем (порскать – значит у охотников криками понуждать гончих к отысканию зверя и подбивать всю стаю на след, отысканный одною) и вообще содержит в неослабном повиновении своему рогу и арапнику. Помощник его называется подъезжим. При выезде из дому или переходе от одного острова к другому соблюдается обыкновенно такой порядок: впереди доезжачий, за ним стая гончих, а за нею подъезжий, всегда готовый с криком: «В кучу!» – хлестнуть арапником собаку, отбившуюся от стаи, – а за ним уже барин и остальные борзовщики. Обязанность борзовщика – стеречь зверя с борзыми близ острова, переменяя место по направлению движения стаи. В уменье выбрать хорошую позицию, выждать зверя, выгнанного наконец гончими из острова, хорошо принять его (т. е. вовремя показать собакам) и хорошо потравить – заключается главная задача охотника и великий источник его наслаждения.

См. примеч. 4.

См. примеч. 4.

Варом-варит – техническое выражение – употребляется, когда гонит вся стая дружно, с неумолкающим лаем и заливаньем, что бывает, когда собаки попадут на след только что вскочившего зайца (называемый горячим следом) или когда зверь просто у них в виду. В последнем случае говорится: гонят по зрячему, и гон бывает в полном смысле неистовый. При жарком и дружном гоне хорошо подобранной стаи голоса гончих сливаются в довольно стройную и не чуждую дикой приятности гармонию, для охотников ни с чем не сравнимую.

Зверь отседает – говорят, когда заяц, уже нагнанный борзыми, вдруг оставляет их далеко за собою, обманув неожиданным уклонением в сторону, прыжком вверх или другим каким-нибудь хитрым и часто разительным движением. Иногда, например, он бросается просто к собакам; собаки с разбега пронесутся вперед, и, когда попадут на новое направление зайца, он уже далеко.

ОтпазОнчить – отрезать задние лапы в среднем суставе.

Торочить, приторачивать – привязывать зайца к седлу, для чего при охотничьих седлах находятся особенные ремешки, называемые тороками.

См. примеч. 4.

Тявкуша – то же, что гончая, иногда также называются выжлецами (в женск. – выжловка); от этого слова доезжачий, заправляющий ими, называется еще *выжлятником*.

* * *

(Подражание Лермонтову)

В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде, чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.
Застигнутый врасплох, стремительно и шумно
Я в мутный ринулся поток
И молодость мою постыдно и безумно
В разврате безобразном сжег...
Шли годы. Оторвав привычные объятья
От негодующих друзей,
Напрасно посылал я поздние проклятья
Безумству юности моей.
Не вспыхнули в груди растроченные силы –
Мой ропот их не пробудил;
Пустынной тишиной и холодом могилы
Сменился юношеский пыл,
И вновый путь, с хандрой, болезненно развитой,
Пошел без цели я тогда
И думал, что душе, довременно убитой,
Уж не воскреснуть никогда.

Но я тебя узнал... Для жизни и волнений
В груди проснулось сердце вновь:
Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений
С души изгладила любовь...
Во мне опять мечты, надежды и желанья...
И пусть меня не любишь ты,
Но мне избыток слез и жгучего страданья
Отрадней мертвой пустоты...

ПРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

1

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла.
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил... Он вызвал – я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

2

Приятель в срок мне долга не представил.
Я, намекнув по-дружески ему,
Закону рассудить нас предоставил;
Закон приговорил его в тюрьму.
В ней умер он, не заплатив алтына,
Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!
Я долг ему простил того ж числа,
Почтив его слезами и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

3

Крестьянина я отдал в повара,
Он удался; хороший повар – счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отчески посек его, каналью;
Он взял да утопился: дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

4

Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был как чаша;
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...

* * *

Еду ля ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день –
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты – другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покоришься – ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...

Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал – и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба –
Вместе свезут и положат рядком...

В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоём совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...

Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья –
И бесполезно замрут!...

* * *

Ты всегда хороша несравненно,
Но когда я уныл и угрюм,
Оживляется так вдохновенно
Твой веселый, насмешливый ум;

Ты хохочешь так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понутив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;

Так добра ты, скупая на ласки,
Поцалуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки
Так голубят и гладят меня, –

Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко спошу
И вперед – в это темное море –
Без обычного страха гляжу...

* * *

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

* * *

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, –
Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты –
Не торопи развязки неизбежной!

И без того она недалеко:
Кипим сильнее, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны...

* * *

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,
Всё, что душу волнует и мучит!

Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир – и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участия...

* * *

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства?
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе –
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,

И современники ему
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь

Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, –

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он – ненавидя!

ФИЛАНТРОП

Частью по глупой честности,
Частью по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Место я имел доходное,
А доходу не имел:
Бескорыстье благородное!
Да и брать-то не умел.
В Провиантскую комиссию
Поступивши, например,
Покупал свою провизию –
Вот какой миллионер!
Не взыщите! честность ярая
Одолела до ногтей;
Даже стыдно вспомнить старое –
Ведь имел уж и детей!
Сожалели по Житомиру:
»Ты-де нищим кончишь век
И семейство пустишь но миру,
Беспокойный человек!«
Я не слушал. Сожаления
В недовольство перешли,
Оказались упущения,
Подвели – и упекли!
Совершилось пророчество
Благомыслящих людей:
Холод, голод, одиночество,
Переменчивость друзей –
Всё мы, бедные, извели,
Чашу выпили до дна:
Плачут дети – не обедали, –
Убивается жена,
Проклинает поведение
Гордость глупую мою;
Я брожу как привидение,
Но – свидетель бог – не пью!
Каждый день встаю ранехонько,
Достаю насущный хлеб...
Так мы десять лет ровнехонько
Бились, волею судеб.

Вдруг – известье незабвенное! –
Получаю письмецо,
Что в столице есть отменное,
Благородное лицо;

Муж, которому подобного,
Может быть, не знали вы,
Сердца ангельски незлобного
И умнейшей головы.
Славен не короной графскою,
Не приездом ко двору,
Не звездою Станиславского,
А любовью к добру, –
О народном просвещении,
Соревнуя, генерал
В популярном изложении
Восемь томов написал.
Продавал в большом количестве
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.

Словно с равными беседуя,
Он и с нищими учтив,
Нам терпенье проповедуя,
Как Сократ красноречив.

Он мое же поведение
Мне как будто объяснил,
И ко взяткам отвращение

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.